Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://filosoff.org/ Приятного чтения!

Бертран Рассел

Мои религиозные воспоминания

Мои родители – лорд и леди Эмберли – считались ужасными людьми из-за передовых для своего времени взглядов на политику, теологию и мораль. Когда в 1874 году мать умерла, ее похоронили без всякой религиозной церемонии рядом с домом в Вай Вэлли. Отец хотел, чтобы его тоже похоронили там, но, когда в 1876 году он умер, его желаниями пренебрегли и обоих перевезли в фамильный склеп в Шени. В завещании нашими с братом опекунами отец определил двух своих друзей, разделявших его взгляды, однако с завещанием не посчитались, и решением Верховного суда мы были отданы на попечение бабушки и деда. Мой дед, известный государственный деятель, умер в 1878 году, и вопрос о том, как меня воспитывать, решила его вдова. Она принадлежала к шотландским пресвитерианам, а затем постепенно стала унитарианкой. По воскресеньям меня попеременно брали то в приходскую церковь, то в пресвитерианскую церковь, а дома воспитывали в духе унитаризма. Не было проповеди вечного наказания и веры в буквальную истинность Библии, а воскресенье не соблюдалось, если не считать того, что в этот день – чтобы не смущать слуг – старались не играть в карты. Но в остальном мораль была строгой, считалось само собой разумеющимся, что совесть – это око божье – непогрешимый руководитель во всех практических затруднениях.

Мое детство прошло в одиночестве – брат был на семь лет старше, а в школу меня не отдали. Поэтому у меня оставалось предостаточно времени для размышления, и приблизительно в 14 лет мысли мои обратились к теологии. В последующие четыре года я последовательно отверг свободу воли, бессмертие и веру в бога. Я думал, что очень страдаю, однако, когда весь этот процесс подошел к концу, обнаружил себя гораздо более счастливым, чем в то время, когда сомневался. Полагаю уже сейчас, что своим несчастьем я был в большей степени обязан одиночеству, чем теологическим затруднениям. За все это время я ни с кем не говорил о религии, за исключением одного домашнего учителя, который был агностиком. Его вскоре отослали, возможно из-за того, что он не смог отбить у меня охоту к неортодоксальности.

Из боязни быть смешным я главным образом молчал. В 14 лет я пришел к убеждению, что фундаментальным принципом этики должно быть человеческое счастье, и поначалу это казалось мне столь очевидным, что я полагал, будто так должны думать все. Потом я обнаружил, к своему удивлению, что такое воззрение считается неортодоксальным и называется утилитаризмом. Я заявил – с явным удовольствием произнося длинное слово,– что я утилитарист; но мое заявление было высмеяно. Бабушка долго еще пользовалась любой возможностью и с иронией ставила передо мной этические головоломки, которые я должен был решать, исходя из утилитаристских принципов. К своему удивлению, готовя к публикации «Архивы Эмберли», я обнаружил, что она подвергала тем же испытаниям моего дядю, когда тот был молодым. В результате я решил держать свои мысли при себе; дядя, несомненно, тоже решил что-нибудь в этом роде.

Насмешка – внешне забавная вещь, но в действительности выражавшая враждебность – была любимым оружием, возможно, самым убийственным в обращении с молодыми людьми, за исключением просто жестокости. Когда я заинтересовался философией – предметом, который в силу каких-то причин предавался анафеме,– мне сказали, что всю ее можно резюмировать следующим образом: «What is mind? – No matter. What is matter? – Never mind». После 15 или 16 повторений шутка перестала казаться забавной.

И все же во многих отношениях атмосфера дома была либеральной.

Дарвинизм, например, считался чем-то само собой разумеющимся. Одно время, когда мне было 13 лет, у меня был очень ортодоксальный учитель из Швейцарии, который в ответ на какие-то мои слова сказал с величайшей серьезностью:

«Если ты последователь Дарвина, мне тебя жалко, потому что невозможно быть одновременно дарвинистом и христианином». Мне не верилось, что одно с другим

несовместимо, но уже ясно было – если бы я выбирал, то выбрал бы Дарвина.

До поступления в Кембридж я почти совсем не знал современных течений мысли. На меня повлиял Дарвин, а затем Джон Стюарт Милль; но больше всего на меня оказало влияние изучение динамики. Мое мировоззрение фактически больше подошло бы картезианцу XVII или XVIII столетия, чем человеку последарвиновской эпохи. Я считал, что все движения материи подчиняются физическим законам и что, по всей видимости, это справедливо в отношении как человеческого тела, так и любого другого вещества. Страстно интересуясь религией, но не имея возможности обсуждать ее, я записывал свои мысли греческими буквами в тетрадь, которую озаглавил «Упражнения в греческом», где, чтобы еще больше скрыть эти мысли, я придумал новую систему произнесения слов по буквам. Пятнадцати лет я записал в этой тетради:

"Рассматривая свободу воли, мы не видим ясной разделительной линии между человеком и простейшими. Следовательно, если мы наделяем свободой воли человека, мы должны также наделить ею и простейших. Но это трудно сделать.

Следовательно, если мы не желаем наделять свободой воли простейших, мы не должны наделять ею и человека. Это, однако, хоть и возможно, но трудно себе представить. Если – что кажется мне вероятным – протоплазма организовалась в силу естественного хода вещей, без какого-либо вмешательства бога, тогда мы, как и все вообще животные, живем просто за счет химических сил и ничем не лучше деревьев (о которых никак нельзя сказать, что они обладают свободой воли). И если бы у нас было достаточно знаний о силах, действующих на кого-либо в какой-то момент времени, о мотивах «за» и «против», об устройстве мозга этого человека, тогда мы могли бы точно сказать, что он будет делать".

До 18 лет я продолжал верить в бога деистов, потому что аргумент от первопричины казался мне неопровержимым. Затем в «Автобиографии» Джона Стюарта Милля я обнаружил, что Джеймс Милль привел опровержение этого доказательства, а именно: аргумент не дает ответа на вопрос: «Кто сотворил бога?» Удивительно, что Милль мог так повлиять на меня. Я узнал гораздо позже о том, что он был близким другом родителей и источником многих взглядов, которых они придерживались. Не подозревая, что иду по стонам отца, я прочитал еще до поступления в Кембридж «Логику» и «Политическую экономию», сделал многочисленные выписки, стараясь овладеть искусством передачи сути каждого параграфа в одном предложении. Я уже интересовался тогда принципами математики и был глубоко разочарован миллевским сведением чистой математики к эмпирической науке. Этой точки зрения ныне не придерживается никто.

В юности я много читал, но, поскольку в моем распоряжении была в основном библиотека деда, лишь немногие из прочитанных книг принадлежали моему времени. Это было удивительное собрание. Помню, что важными для меня книгами были «История христианства» Мильмана, Гиббон, Конт, Данте, Макиавелли, Свифт и Карлейль; но важнее других был Шелли, которого, впрочем, хотя он и родился в один месяц с дедом, я не нашел на книжных полках библиотеки.

И только в Кембридже я познакомился с современным миром – я имею в виду мир, который был современным в начале 90-х годов: Ибсен и Шоу, Флобер и Патер, Уолт Уитмен, Ницше и так далее. Не думаю, что кто-либо из них значительно повлиял на меня, возможно, за исключением Ибсена. Два человека изменили мои взгляды в то время: сначала Мак-Таггарт, в одном направлении, а затем, когда я стал членом колледжа, Дж. Э. Мур – в направлении противоположном. Мак-Таггарт сделал из меня гегельянца, а Мур заставил вернуться к взглядам, которые у меня были до поступления в Кембридж. Большей части того, чему я научился в Кембридже, мне пришлось потом с большим трудом разучиваться. В целом знания, полученные в одиночестве старой библиотеки, оказались более надежными.

Влияние немецкого идеализма в Англии вряд ли выходило за пределы университетов, однако в них, когда я был молод, он господствовал почти безраздельно. Грин и Керд обратили в свою веру Оксфорд, а Брэдли и Бозанкет – ведущие британские философы 90-х годов – были в большем согласии с Гегелем, чем с кем бы то ни было, хотя, по какой-то неизвестной мне причине, почти никогда не упоминали о нем. В Кембридже Генри Сиджвик все еще представлял бентамовскую традицию, а Джеймс Уорд был кантианцем; но более молодое поколение – Стаут, Макензи и Мак-Таггарт были, в большей или меньшей степени, гегельянцами.

С гегельянством уживалось очень разное отношение к христианскому учению. В философии Гегеля ничто не считается совершенно истинным или совершенно ложным; все высказанное обладает лишь ограниченной истинностью, но, поскольку люди должны что-то говорить, мы не можем обвинять их в том, что они не говорят всей правды, и только правды. Самое большее, что мы можем делать, согласно Брэдли, это говорить вещи, которые не являются «интеллектуально поправимыми». Дальнейший прогресс возможен только через синтез мышления и чувства, и это приведет нас к тому, что мы перестанем вообще что-либо говорить. У идей есть степени истинности, большие или меньшие – в зависимости от той ступени, на которой они появляются в диалектике. Бог обладает большой долей истины, поскольку он появляется на довольно поздней ступени диалектики; но у него нет полной истины, поскольку он растворяется в абсолютной идее. Правое крыло гегельянцев подчеркивало в понятии бога истинность, левое крыло – ложность, и при этом и те и другие были верны учителю. Немецкий идеалист, если он подчинялся дисциплине и выполнял приказы, помнил, насколько понятие (одного) бога истиннее, чем понятие (многих) богов; если он становился чиновником, он помнил еще более великую истину абсолютной идеи, земным воплощением которой было прусское государство.

В Англии учителя философии, которые были гегельянцами, почти все принадлежали к левому крылу. «Религия,– писал Брэдли,– практична и потому все еще поглощена идеей блага; а в сути этой идеи содержится неразрешенное противоречие. Религия все еще вынуждена защищать некоторые взгляды, которые, как таковые, не могут быть приведены к единству; короче говоря, она существует постоянно колеблясь и входя в компромиссы». Ни Брэдли, ни Бозанкет не верили в личное бессмертие. Макензи в то время, когда я изучал философию, утверждал в одном своем выступлении, что «личный бог – это в каком-то смысле противоречие в терминах»; впоследствии он был одним из моих экзаменаторов. Отношение этих людей к религии, таким образом, не могло вызвать одобрения у ортодокса, но оно ни в коем случае не было враждебным: религия считалась существенным ингредиентом истины и полагалась ущербной только в том случае, если ее принимали за всю истину. Взгляд, которого я ранее придерживался,– «либо бог есть, либо его нет, и, вероятно, верно последнее»,– они считали очень грубым; правильное мнение состоит в том, сказали бы они, что с одной точки зрения бог есть, а с другой – его нет; но с высшей точки зрения нет ни «есть», ни «нет». Будучи по природе «грубым», я так и не смог постигнуть этой вершины добросердечия.

Мак-Таггарт, в значительной мере определивший философские воззрения моего поколения в Кембридже, выделялся среди гегельянцев в нескольких отношениях. Он был более верен, чем другие, диалектическому методу и защищал даже его детали. В отличие от некоторых принадлежавших к этой школе философов, он решительно утверждал какие-то вещи и решительно отрицал другие; он называл себя атеистом, но твердо верил в личное бессмертие и был убежден, что может логически доказать его. Он был на четыре года старше и в мой первый год в Кембридже председательствовал в студенческом союзе. Мы оба были такие застенчивые, что когда приблизительно через две недели после моего приезда он посетил меня, то не мог собраться с духом и войти в комнату, а я не осмеливался пригласить его, так что он оставался в дверях минут пять. Вскоре, однако, разговор перешел на философию, и робость исчезла. Я обнаружил, что все, что я думал об этике, логике и метафизике, считается опровергнутым с помощью какой-то малопонятной техники аргументации, которая привела меня в совершенное недоумение; и с помощью той же техники доказывалось, что я должен жить вечно. Я обнаружил, что старики считают это чушью, а молодые видят в этом смысл, так что из сочувствия решил изучать данную философию и какое-то время даже как-то верил в нее. Верил в нее недолгое время и Дж. Э. Мур. Но он обнаружил, что гегелевская философия неприменима к стульям и столам, а я обнаружил, что она неприменима к математике; так что с его помощью я выбрался из нее – обратно к здравому смыслу, закаленному математической логикой.

Интеллектуальная атмосфера 90-х годов очень отличалась от той, которая была в годы молодости моего отца; в некоторых отношениях она была лучше, в некоторых хуже. Способные молодые люди больше не входили в детали христианского вероучения; почти все они были агностиками и не интересовались ни дискуссиями по поводу божественного происхождения Христа, ни подробностями критики Библии.

Вспоминаю испытанное мною чувство презрения, когда я узнал, что в молодые годы Генри Сиджвик, желавший установить, существует ли бог, посчитал необходимым в качестве первого шага изучить семитские языки. Это показалось мне свидетельством недостаточно развитого чувства логической сообразности.

Но мне хотелось, как и большинству моих друзей, слушать метафизические доказательства «за» или «против» существования бога, бессмертия или свободы воли; и только после того, как я нашел новую логику, такие доказательства перестали казаться достойными внимания.

Неакадемические герои 90-х годов – Ибсен, Стриндберг, Ницше и (какое-то время) Оскар Уайльд – весьма отличались от героев предшествующего поколения.

Великие люди 60-х годов все были «добродетельными» людьми: они были терпеливы, старательны и одобряли какие-либо изменения только в том случае, если детальное и тщательное исследование убеждало их, что эти изменения в каком-то отношении необходимы. Они выступали за реформы, и в общем эти выступления были успешны, так что мир очень быстро улучшался. Но по характеру они не были мятежниками. Я не говорю, что не существовало великих мятежников: Маркс и Достоевский, если назвать только двоих, создали большую часть своих лучших работ в 60-е годы. Но они были тогда почти неизвестны в образованной среде, и их влияние относится к гораздо более позднему времени.

Люди, которые внушали уважение в Англии 60-х годов – Дарвин, Хаксли, Ньюмен, авторы «Очерков и Обзоров» и так далее,- не вели, в сущности, войны против общества; они могли встречаться, как это было в «Метафизическом обществе», чтобы в изысканной манере обсудить вопрос, существует ли бог. В конце концов они разошлись во взглядах, и сэр Маунтстюарт Грант Дафф, когда его потом спросили, существует ли бог, ответил: «Да, существует. В этом вопросе у нас был значительный перевес в голосах». В те годы демократия правила даже небесами.

Но в 90-х годах молодые люди желали чего-нибудь более радикального и страстного, более смелого и менее вежливого. Импульс к разрушению и насилию, который охватил мир, зародился в литературе. Ибсен, Стриндберг и Ницше были сердитыми людьми – и не по тому или другому частному поводу, но вообще сердитыми. И поэтому каждый из них выработал воззрение на жизнь, которое оправдывало гнев. Молодые люди восхищались их страстью и находили в ней выход своим собственным чувствам протеста против родительской власти.

Утверждение свободы казалось достаточно благородным мотивом, чтобы оправдать насилие. Насилие, когда время пришло, появилось, однако свобода была утеряна где-то по ходу дела.
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://filosoff.org/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!